

/ Дивясь божественным природы красотам», очевидно подсказанных только что найденной рифмой «высотам / пятам». Создается впечатление, что этим наброском Пушкин вступил в диалог с самим собой, отразив в предложенном им в «Из Пиндемонта» идеал духовного пути как греховный с точки зрения христианского сознания<sup>22</sup>. Тем не менее он дописал «Из Пиндемонта» до конца и аккуратно перебелил его, а к наброску больше не возвращался: из двух вариантов пути — «побега к Сионским высотам» и свободного светского странствия «здесь и там», среди красот природы и созданий искусств, — Пушкин явно отдал предпочтение последнему.

## ВАЛЬТЕР-СКОТТОВСКИЙ ИСТОРИЗМ И «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

Зависимость «Капитанской дочки» от жанровых моделей, канонизированных в 1820-е годы историческими романами Вальтера Скотта и его подражателей, давно не вызывает никаких сомнений. Как показал еще Д.П. Якубович, само построение повествования, почти все сюжетные перипетии и функции отдельных персонажей у Пушкина восходят непосредственно к вальтер-скоттовским романам. Выводы Якубовича были впоследствии подтверждены рядом других исследователей, дополнивших и уточнивших его конкретные наблюдения<sup>1</sup>. Недавно Марк Альтшуллер, подытожив все параллели, назвал «Капитанскую дочку» самым вальтер-скоттовским романом в русской литературе. Опираясь на работы своих предшественников, он показывает, что главным образцом для Пушкина послужил «Роб Рой» — роман, который, как и «Капитанская дочка», написан в форме «семейственных записок» главного героя, вспоминающего на склоне лет героические приключения своей юности<sup>2</sup>. В обоих текстах строгий отец в воспитательных целях отсылает из дома легкомысленного сына, который отправляется в путешествие на чужую пограничную территорию и по дороге случайно знакомится с легендарным разбойником, историческим персонажем (соответственно Роб Роем, шотландским угонщиком скота, и Емельяном Пугачевым). В результате этой провиденциальной встречи разбойник становится благодетелем и защитником главного героя, спасая ему жизнь. Как в «Роб Рое», так и в «Капитанской дочке» простодушному и честному герою противостоит хитрый и лживый соперник-антагонист, циничный подлец, который, неоднократно нарушая кодекс чести, предаёт своих и переходит к врагу, — Рашлей Освальдистон у Скотта и Швабрин

<sup>1</sup> См.: Якубович Д.П. «Капитанская дочка» и романы Вальтера Скотта // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. [Вып.] 4—5. С. 165—197; Greene M. Pushkin and Sir Walter Scott // Forum for Modern Language Studies. 1965. Vol. 1. № 3. P. 207—215; Петрунина Н.Н. Проза Пушкина. Пути эволюции. Л., 1987. С. 241—248; Долинин А.А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 231—234; Frazier M. Kapitanskaia dochka and the Creativity of Borrowing // The Slavic and East European Journal. 1993. Vol. 37. № 4. P. 472—489 и др.

<sup>2</sup> Альтшуллер М.Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х годов. СПб., 1996. С. 240—257.

<sup>22</sup> Ср. схожую мысль в: Тоддес Е.А. К вопросу о каменноостровском цикле. С. 33.

у Пушкина<sup>3</sup>. В обоих случаях антагонист, пытаясь добиться благосклонности у той же девушки, что и герой, насмехается над стихами своего соперника, ранит его на дуэли, очерняет в глазах отца и несправедливо обвиняет в государственной измене. Отдельные сцены «Капитанской дочки», кроме того, имеют параллели и в других романах Вальтера Скотта — например, в «Уэверли», «Пуританах», «Легенде о Монтрозе» и «Эдинбургской темнице». По сути дела, едва ли не весь сюжет пушкинского текста искусно сложен из хорошо узнаваемых вальтер-скоттовских «блоков», с соблюдением тех же правил представления исторических лиц и соединения факта и вымысла.

Обсуждая пушкинские заимствования из романов «шотландского чародея», исследователи, как правило, утверждают, что Пушкин хотел вступить в творческое соревнование с Вальтером Скоттом на его же территории (или, как он сам однажды выразился, «заткнуть Вальтер Скотта за пояс»<sup>4</sup>) — то есть, оставив неизменными основные структурные принципы формульного жанра, создать по его правилам текст, обладающий большей художественной ценностью. С этой концепцией нельзя не согласиться, особенно если иметь в виду, что *aemulatio*, или «улучшение того, что уже было создано другими», как показал И.П. Смирнов, представляло собой центральную для всего творчества Пушкина интертекстуальную стратегию<sup>5</sup>. Менее обоснованным, однако, кажется распространенное убеждение, что, вступая в художественное соревнование с авторитетным предшественником и побеждая его за счет более искусного, лейтмотивного построения сюжета и более тонко нюансированной обрисовки персонажей и исторического фона, Пушкин безоговорочно принял взгляды Вальтера Скотта на детерминированность исторических процессов или даже усилил его последовательный «историзм». «В интерпретации самой истории Пушкин следует путем Скотта; он применяет метод последнего к русской истории», — писал, например, Георг Лукач в своей влиятельной

<sup>3</sup> Первое описание Швабрина у Пушкина — «молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым», чей «разговор <...> был остер и занимателен» (6, 277) — повторяет главные черты портрета Рашлея в «Роб Рое». Герой Скотта тоже невысокий мужчина с неправильными чертами лица и смуглой кожей; он некрасив, но у него «проницательные темные глаза» и живая мимика; «занимательный остроумный разговор делал его интересным собеседником» (*Scott W. Rob Roy. (The Highland Edition)*. Boston, 1983. P. 69—70).

<sup>4</sup> *Бартенев П.И.* Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей... М., 1925. С. 35.

<sup>5</sup> См.: *Смирнов И.П.* *Aemulatio* в лирике Пушкина // Пушкин и Пастернак. Материалы второго Пушкинского коллоквиума. Будапешт, 1991. С. 17—42.

книге «Исторический роман»<sup>6</sup>. Цель данной работы заключается в том, чтобы оспорить эту точку зрения и показать, что в ряде существенных моментов подход Пушкина-романиста к историческому материалу — восстанию Пугачева — противоречит основным принципам интерпретации сходных исторических конфликтов, разработанным Вальтером Скоттом и его многочисленными последователями на Западе.

Общеизвестно, что вальтер-скоттовский исторический роман предлагает удобную модель для описания любого общества в диахронической перспективе, поскольку он, как правило, рисует некий переломный момент исторического развития, который приводит к резким, часто революционным изменениям. Вальтер Скотт обычно выявляет историческую динамику через контраст и конфликт двух враждующих лагерей — одна партия пытается защитить старый порядок, исторически обреченный на уничтожение, в то время как ее «прогрессивные» противники приближают неизбежную трансформацию. Как заметил еще Сэмюэль Кольридж, конфликт подобного рода обладает универсальной притягательностью, так как он являет собой «сопряжение между двумя великими принципами, движущими социальную жизнь человечества: религиозной приверженностью к прошлому и древнему, желанием постоянства и восхищением им, с одной стороны, а с другой, страстью к приумножению знания, к истине, как дочери разума, — иными словами, могучим инстинктом *продвижения вперед и свободного действия*»<sup>7</sup>. В романах Скотта, это «сопряжение» может принимать разные формы:

— культурное соперничество между цивилизованной «современностью» и отсталой «патриархальностью», как, например, в «Роб Рое», где изображен, по определению самого Скотта, «сильный контраст между цивилизованным и утонченным образом жизни по одну сторону границы Горной Страны и беззаконными, дикими деяниями, которые постоянно замышляли и совершали те, кто жили по другую сторону этой воображаемой границы»<sup>8</sup>;

— религиозная война (например, восстание шотландских пуритан в эпоху Реставрации, описанное в романе «Пуритане»);

<sup>6</sup> *Lukacs G.* *The Historical Novel*. London, 1974. P. 72—73. Ср. замечание Г.А. Гуковского: «...созданные [Пушкиным в «Капитанской дочке»] образы героев в самой сути своей психологии, своей духовной эволюции, своих характеров определены историко-социально, в мере, не доступной ни одному историческому романисту до него, в том числе и Вальтеру Скотту» (*Гуковский Г.А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 372).

<sup>7</sup> Цит. по: *Hayden J.O.* (ed.). *Scott: The Critical Heritage*. New York, 1970. P. 180 (курсив Кольриджа).

<sup>8</sup> *Scott W. Rob Roy*. P. 69—70.

— столкновение двух политических систем (например, борьба республиканцев и роялистов в «Вудстоке», или монарха против феодальных баронов в «Квентине Дорварде»);

— этническая вражда в результате военного вторжения иноземцев, как, скажем, в знаменитом «Айвенго», где Вальтер Скотт, по его собственным словам, противопоставил коренное англо-саксонское население завоевателям-норманнам, составлявшим правящий класс в средневековой Англии, как «две расы в одной стране: покоренные, отличавшиеся простыми, неприхотливыми и грубыми нравами, а также свободолюбивым духом, восходящим к их обычаям и законам, и завоеватели, отличительными чертами которых были высокий дух воинской славы, личная предприимчивость и все то, благодаря чему они могли бы предстать цветом рыцарства»<sup>9</sup>.

Каковой бы ни являлась форма конфликта, он определяет парадигмы поведения, нравы, воззрения и действия его участников и имеет значимые, закономерные исторические последствия, с учетом которых он ретроспективно и оценивается в повествовании. Именно этот прогрессистский и детерминистский подход к истории, присущий вальтер-скоттовскому роману, и привлек к нему внимание сначала французских историографов первой половины XIX века, а затем Маркса и марксистов всех мастей вплоть до современных американских и английских «новых историков». Так, под влиянием «Айвенго», Огюстен Тьерри усмотрел универсальный ключ к пониманию европейской истории в завоевании Англии норманнами; с его точки зрения, начальным толчком для формирования всех крупнейших наций и государств (как и всей современной европейской цивилизации в целом) послужило вторжение извне, повлекшее за собой длительную борьбу между завоевателями, которые составляли правящую элиту покоренной страны, и побежденными, из которых постепенно складывались низшие классы общества. Во введении к «Истории завоевания Англии норманнами» (книги, которую Пушкин читал или перечитывал в 1834 году<sup>10</sup>), в «Письмах о французской истории» и ряде других работ Тьерри подчеркивал, что своей теорией «возникновения великих современных государств» в результате изначального вооруженного конфликта между враждующими этническими группами он обязан вальтер-скоттовскому роману, описавшему главные, по-

<sup>9</sup> Scott W. The Prefaces to the Waverly Novels. Lincoln, 1978. P. 138—139.

<sup>10</sup> 15 ноября 1834 года Пушкин писал жене из Болдина: «...я сделался ужасным политиком с тех пор, как читаю *Conquête de l'Angleterre par les Normands*» (10, 400).

воротные моменты исторического развития как войну этносов, классов или политических партий<sup>11</sup>.

Век спустя Георг Лукач, убежденный (хотя и весьма просвещенный) марксист, обнаружил в историзме Вальтера Скотта «очень интересную параллель к философии истории Гегеля», представляющей общество как поле брани, где «новое враждует со старым, и переменам сопутствуют обесценивание, дискредитация и разрушение предшествующей модели реальности». По мнению Лукача, Вальтер Скотт, предвосхищая Гегеля и Маркса, изобразил «тотальность некоторых переходных периодов истории» в ее диалектическом ракурсе; главная его тенденция — «...защищать прогресс <...> движущей силой и материальным базисом которого является живое противоречие враждующих исторических сил, антагонизм классов и наций». Вот почему романист обычно описывает какой-нибудь революционный кризис, который разбивает страну на два враждующих лагеря и дает читателю понять, по каким именно причинам возник этот раскол. Его персонажи «по своей психологии и судьбе <...> представляют собой социальные тенденции и исторические силы <...> воплощают социалистические типы». Они жертвы или представители исторической необходимости, которая в его романах «строга и неумолима»<sup>12</sup>. Единственный, кто в романах Вальтера Скотта не подчиняется закону исторического детерминизма, — это их главный герой, усредненный молодой человек «умеренных взглядов», который не связан ни с одной из враждующих сторон в конфликте и поэтому занимает нейтральную позицию вне сферы необходимости. Его функция, согласно Лукачу, заключается в установлении контакта между антагонистами, чей «конфликт художественно выражает острый общественный кризис. Через сюжет, в центре которого стоит этот герой, осуществляется поиск и обнаружение некоей нейтральной территории, на которой крайние, противоборствующие социальные силы могут установить человеческие отношения между собой». Благодаря обыкновенному герою, который способен вступить в личностные, неидеологизированные контакты с представителями обоих лагерей, сюжет делает их по-человечески близкими и понятными читателю<sup>13</sup>.

Согласно Лукачу, «Капитанская дочка» наследует у вальтер-скоттовского романа основные принципы «историзма». Вслед за

<sup>11</sup> *Thierry Augustin*. Histoire de la conquête de l'Angleterre par les normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Écosse, en Irlande et sur le continent // *Oeuvres complètes de Augustin Thierry*. Paris, 1846. T. 1. P. 14; *Thierry A. Lettres sur l'histoire de France*. Paris, 1846. P. 61—62.

<sup>12</sup> *Lukacs G.* The Historical Novel. London, 1974. P. 35, 38—39, 58—59.

<sup>13</sup> *Ibid.* P. 36—37.

— столкновение двух политических систем (например, борьба республиканцев и роялистов в «Вудстоке», или монарха против феодальных баронов в «Квентине Дорварде»);

— этническая вражда в результате военного вторжения иноземцев, как, скажем, в знаменитом «Айвенго», где Вальтер Скотт, по его собственным словам, противопоставил коренное англо-саксонское население завоевателям-норманнам, составлявшим правящий класс в средневековой Англии, как «две расы в одной стране: покоренные, отличавшиеся простыми, неприхотливыми и грубыми нравами, а также свободолюбивым духом, восходящим к их обычаям и законам, и завоеватели, отличительными чертами которых были высокий дух воинской славы, личная предприимчивость и все то, благодаря чему они могли бы предстать цветом рыцарства»<sup>9</sup>.

Каковой бы ни являлась форма конфликта, он определяет парадигмы поведения, нравы, воззрения и действия его участников и имеет значимые, закономерные исторические последствия, с учетом которых он ретроспективно и оценивается в повествовании. Именно этот прогрессистский и детерминистский подход к истории, присутствующий вальтер-скоттовскому роману, и привлек к нему внимание сначала французских историографов первой половины XIX века, а затем Маркса и марксистов всех мастей вплоть до современных американских и английских «новых историков». Так, под влиянием «Айвенго», Огюстен Тьерри усмотрел универсальный ключ к пониманию европейской истории в завоевании Англии норманнами; с его точки зрения, начальным толчком для формирования всех крупнейших наций и государств (как и всей современной европейской цивилизации в целом) послужило вторжение извне, повлекшее за собой длительную борьбу между завоевателями, которые составляли правящую элиту покоренной страны, и побежденными, из которых постепенно складывались низшие классы общества. Во введении к «Истории завоевания Англии норманнами» (книги, которую Пушкин читал или перечитывал в 1834 году<sup>10</sup>), в «Письмах о французской истории» и ряде других работ Тьерри подчеркивал, что своей теорией «возникновения великих современных государств» в результате изначального вооруженного конфликта между враждующими этническими группами он обязан вальтер-скоттовскому роману, описавшему главные, по-

<sup>9</sup> Scott W. The Prefaces to the Waverly Novels. Lincoln, 1978. P. 138—139.

<sup>10</sup> 15 ноября 1834 года Пушкин писал жене из Болдина: «...я сделался ужасным политиком с тех пор, как читаю *Conquête de l'Angleterre par les Normands*» (10, 400).

воротные моменты исторического развития как войну этносов, классов или политических партий<sup>11</sup>.

Век спустя Георг Лукач, убежденный (хотя и весьма просвещенный) марксист, обнаружил в историзме Вальтера Скотта «очень интересную параллель к философии истории Гегеля», представляющей общество как поле брани, где «новое враждует со старым, и переменам сопутствуют обесценивание, дискредитация и разрушение предшествующей модели реальности». По мнению Лукача, Вальтер Скотт, предвосхищая Гегеля и Маркса, изобразил «тотальность некоторых переходных периодов истории» в ее диалектическом ракурсе; главная его тенденция — «...защищать прогресс <...> движущей силой и материальным базисом которого является живое противоречие враждующих исторических сил, антагонизм классов и наций». Вот почему романист обычно описывает какой-нибудь революционный кризис, который разбивает страну на два враждующих лагеря и дает читателю понять, по каким именно причинам возник этот раскол. Его персонажи «по своей психологии и судьбе <...> представляют собой социальные тенденции и исторические силы <...> воплощают социоисторические типы». Они жертвы или представители исторической необходимости, которая в его романах «строга и неумолима»<sup>12</sup>. Единственный, кто в романах Вальтера Скотта не подчиняется закону исторического детерминизма, — это их главный герой, усредненный молодой человек «умеренных взглядов», который не связан ни с одной из враждующих сторон в конфликте и поэтому занимает нейтральную позицию вне сферы необходимости. Его функция, согласно Лукачу, заключается в установлении контакта между антагонистами, чей «конфликт художественно выражает острый общественный кризис. Через сюжет, в центре которого стоит этот герой, осуществляется поиск и обнаружение некоей нейтральной территории, на которой крайние, противоборствующие социальные силы могут установить человеческие отношения между собой». Благодаря обыкновенному герою, который способен вступить в личностные, неидеологизированные контакты с представителями обоих лагерей, сюжет делает их по-человечески близкими и понятными читателю<sup>13</sup>.

Согласно Лукачу, «Капитанская дочка» наследует у вальтер-скоттовского романа основные принципы «историзма». Вслед за

<sup>11</sup> *Thierry Augustin*. Histoire de la conquête de l'Angleterre par les normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Écosse, en Irlande et sur le continent // *Oeuvres complètes de Augustin Thierry*. Paris, 1846. T. 1. P. 14; *Thierry A.* Lettres sur l'histoire de France. Paris, 1846. P. 61—62.

<sup>12</sup> *Lukacs G.* The Historical Novel. London, 1974. P. 35, 38—39, 58—59.

<sup>13</sup> *Ibid.* P. 36—37.

Вальтером Скоттом, утверждает он, Пушкин сосредоточивает внимание на историческом кризисе, на поворотных моментах, определяющих развитие общества, и социально-исторически детерминирует своих персонажей, никогда не отступая от того, что «обусловлено эпохой и классом». Главный герой «Капитанской дочки», с его точки зрения, это тот же вальтер-скоттовский «средняк», человек «умеренных взглядов», который сталкивается с «особыми испытаниями и задачами» и тем самым перерастает «прежнюю посредственность», выявляя в самом себе и в других персонажах «правдивые и подлинно гуманные качества»<sup>14</sup>.

Вероятно, не без воздействия книги Лукача об историческом романе была написана классическая работа Ю.М. Лотмана «Идейная структура “Капитанской дочки”» (1962), хотя жесткая марксистская схема в ней ослаблена, терминология обновлена, а акценты несколько переставлены. Согласно Лотману, в «Капитанской дочке» Пушкин показывает трагический раскол русского общества на «две противопоставленные, борющиеся силы», причины которого — «в глубоких социальных процессах, не зависящих от воли или намерения людей. <...> Он видит, что у каждой стороны есть своя, исторически и социально обоснованная “правда”, которая исключает для нее возможность понять резоны противоположного лагеря». У дворянского мира и крестьянского мира в изображении Пушкина, как утверждает Лотман, нет ничего общего: каждый из них имеет «свой бытовой уклад, оваянный своеобразной, лишь ему присущей поэзией, свой склад мысли, свои эстетические идеалы» и, самое главное, свою концепцию власти, закона и справедливости. Пропась между этими двумя мирами непреодолима, ибо их системы ценностей несовместимы; «социальное примирение сторон исключено», ибо они глухи и потому крайне жестоки друг к другу. Единственное, что противостоит в романе ожесточенной классовой борьбе и логике политической целесообразности, это «человечность» — то есть способность «подняться над “жестоким веком”, сохранив в себе гуманность, человеческое достоинство и уважение к живой жизни других людей». Такой человечностью обладает не только главный герой «Капитанской дочки» Гринев, который «ни в одном из современных ему лагерей <...> не растворяется полностью», но и исторические антагонисты: «народный царь» Пугачев и дворянская императрица Екатерина. Спасая Гринева и Машу, Пугачев действует так, как ему велят «не политические соображения, а человеческое чувство»; точно так же проявляет свою человечность Екатерина, когда милует Гринева. С точки зрения Лотмана, в стремлении Пушкина «положительно оценить те минуты, когда люди политики, вопреки своим убеждениям и “за-

<sup>14</sup> *Lukacs G.* The Historical Novel. London, 1974. P. 72—73.

конным интересам», возвышаются до простых человеческих движений», выражается его «утопическая мечта об обществе социальной гармонии», хотя он не видит пути, который вел бы к нему «от идей и действий любого из борющихся лагерей»<sup>15</sup>.

Последнее соображение Лотмана крайне важно, поскольку в нем можно видеть скрытую полемику с идеями Лукача, полностью проецирующего на «Капитанскую дочку» прогрессистскую модель вальтер-скоттовского историзма. Хотя конфликт народа и дворянства, изображенный в «Капитанской дочке», безусловно, не менее ожесточен, чем любое «соперничество» в романах Вальтера Скотта, тем не менее из него, как на то намекает Лотман, никак не выводится милый сердцу Лукача гегельянский синтез. Дело в том, что русская гражданская война в изображении Пушкина не имеет ничего общего с типичным вальтер-скоттовским конфликтом «старого» и «нового» и никак не связана с понятиями исторического прогресса. Ни у одной из враждующих сторон в «Капитанской дочке» нет определенной политической программы, идеологии, экономического плана или религиозной идеи, приговоренных историей к уничтожению или, наоборот, к триумфу. Именуя крестьянский бунт «бессмысленным и беспощадным» (6, 349), Пушкин подчеркивает отсутствие в нем каких-либо исторически значимых задач и целей, оправданных будущими переменами к лучшему. С одной стороны, Пугачев выдает себя за законного царя и сражается под лозунгами реставрации, а не смены политического режима или экономической системы<sup>16</sup>. С другой стороны, единственная цель правительства и дворянства заключается в том, чтобы подавить восстание, восстановить стабильность и таким образом избежать конфликт от возможных исторических последствий<sup>17</sup>. К русскому бунту, следовательно, неприменимы восходящие к Вальтеру Скотту западные интерпретации гражданских войн как необходимых «ускорителей» исторического прогресса<sup>18</sup>. Скорее, Пушкин осмысляет его как выражение глубинного метаисторического

<sup>15</sup> *Лотман Ю.М.* Идейная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. С. 212—227.

<sup>16</sup> Характерно, что именно Пугачев, предводитель крестьянского восстания, учит Савельича беспрекословно выполнять долг крепостного — во всем слушаться своего барина (6, 272).

<sup>17</sup> Ср. замечание Пушкина в конце «Истории Пугачевского бунта» о том, что Екатерина после подавления бунта повелела «все дело предать вечному забвению» и, «желая истребить воспоминание об ужасной эпохе», переименовала реку Яик в Урал, а яицких казаков — в уральских (8, 192).

<sup>18</sup> Подробнее см. об этом: *Dolinin A.* Historicism or Providentialism? Pushkin's *History of Pugachev* in the Context of French Romantic Historiography // *The Slavic Review.* (Summer 1999). Vol. 58. № 2. P. 291—308.

противоречия, лежащего в основе русской истории, — противоречия между анархической, разрушительной волей к абсолютной свободе (которую он ассоциирует с народом и с мужским началом) и ограничивающей волей к порядку (ассоциирующейся с дворянством и с женским началом). Постоянная борьба этих двух сил придает русской истории циклический характер, где бунт или гражданская война одновременно отмечают конец предыдущего и начало следующего цикла. Когда Пугачев дважды сравнивает себя с Дмитрием Самозванцем, которого он (по воле автора) полагает своим прототипом («Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?»; «Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою» — 6, 315; 337), эти отсылки определяют пугачевщину как новое «смутное время», которое, в свою очередь, в иной форме должно повториться в будущем<sup>19</sup>.

Не связанная с идеей прогресса, «социально-историческая необходимость» в «Капитанской дочке» теряет свой абсолютный характер и перестает быть единственным источником каузальности. Этого, как нам представляется, не замечают ни Лукач, ни даже Лотман, который, на наш взгляд, явно преувеличивает глубину разрыва между двумя изображенными в романе мирами. Русское общество у Пушкина, безусловно, «социально разорвано», но только на поверхности, поскольку, как показывает сюжет романа, под «классовым антагонизмом» находится целый субстрат этических ценностей и кодов, общих для всех социальных групп и дающих им возможность вести диалог между собой и понимать друг друга. Уже не раз отмечалось, что почти все основные персонажи романа, независимо от их социальной принадлежности, соединены цепочкой обменов, долгов, подарков, соглашений, клятв, вознаграждений и расплат — и в прямом, и в переносном смысле этих понятий. Многие ответственные поступки персонажей, как показано в работах Сергея Давыдова и Вольфа Шмида, словно бы реализуют общеизвестные речевые клише, и прежде всего две «сюжетогенные» пословицы: «Береги платье снову, а честь смолоду» и «Долг платежом красен», вложенные Пушкиным в уста соответственно старого Гри-

<sup>19</sup> См. пушкинскую запись своей беседы с великим князем Михаилом Павловичем, в которой Пушкин предсказал, что «новое возмущение» будет возглавлено обедневшим, хорошо образованным и разочарованным дворянством, социальным слоем, в котором сконцентрирована «страшная стихия мятежей» (8, 44). Эта мысль, как кажется, перекликается с предостережениями Жозефа де Местра, полагавшего, что в случае освобождения крестьян Русское государство разрушат «Пугачев из университета» («Pugatscheff d'une université») и «амбиции некоторой части дворянства» (*Maistre Joseph de. Quatre chapitres sur la Russie // Oeuvres complètes de Joseph de Maistre. Lyon, 1884. T. 8. P. 291—292.*)

нева и Пугачева<sup>20</sup>. В критических ситуациях как дворяне, так и крестьяне, сами того не сознавая, выполняют эти паремические предписания (которые по определению универсальны и транссоциальны). Гринев незамедлительно платит свой бильярдный долг Зурину и впоследствии вознаграждается гостеприимством, защитой и доверием последнего. Гринев сажает незнакомца (то бишь Пугачева) в свою кибитку, угощает его чашкой чая и стаканом водки и дарит ему свой (не новый!) «заячий тулупчик», а в ответ получает от него не только жизнь и свободу, но и лошадь (отдарок за кибитку), шубу (отдарок за тулупчик) и полтину денег (отдарок за чай и водку). Казак Максимыч, посланный Пугачевым с дарами к Гриневу, неуклюже пытается одновременно быть честным (он упоминает подаренные деньги) и украсть (он объясняет, что «полтину денег <...> растерял дорогою», — 6, 320). Гринев великодушно позволяет ему оставить деньги себе на водку, а Максимыч, в свою очередь, расплачивается за подарок тем, что доставляет Гриневу письмо от Маши во время битвы, когда они сражаются на разных сторонах. Мироновы с честью отдают жизнь за императрицу, и Екатерина, чувствуя себя «в долгу перед дочерью капитана Миронова», исполняет ее просьбу и берет на себя «устроить [ее] состояние» (6, 359).

В структуре романа, как показал Дэвид Бетеа, все подобные поступки складываются в систему взаимных подарков, своего рода «русский потlach»<sup>21</sup>, и уже поэтому, как нам кажется, не могут трактоваться как отдельные и случайные выражения утопической «человечности». Добавим также, что сами персонажи воспринимают их как богоугодные добрые дела, санкционированные принципом христианской морали: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Матф. 7: 12). Главной формой изъявления благодарности за «всякое даяние доброе», которое, согласно Соборному посланию Св. Апостола Иакова, «нисходит свыше» (1: 17), для них становится молитва за дарителя или пожелание Божиего благоволения. «Награди вас Господь за вашу добродетель» (6, 272), — благодарит, например, Пугачев Гринев за подарки, а тот, в свою очередь, пообещает ему: «Где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога мо-

<sup>20</sup> *Davydov S. The Sound and Theme in the Prose of A.S. Pushkin: A Logo-Semantic Study of Paronomasia // The Slavic and East European Journal. 1983. Vol. 27. № 1. P. 1—18; Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении. СПб., 1996. С. 226—236.*

<sup>21</sup> *Бетеа Д. Славянское дарение, поэт в истории и «Капитанская дочка» Пушкина // Автор и текст. Петербургский сборник. Вып. 2 / Под. ред. В.М. Марковича, В. Шмида. СПб., 1996. С. 132—149.*

лить о спасении грешной твоей души» (6, 342). Даже Савельич в конце концов говорит «злодею»: «Дай Бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду Бога молить...» (6, 335). Подобным же образом Максимыч, получив деньги на водку, благодарит Гринева за щедрость: «Очень благодарен, ваше благородие <...> вечно за вас буду Бога молить» (6, 321), а когда они вновь встречаются, осведомляется: «Как вас Бог милует?» (6, 326), словно бы интересуясь, какое действие возымели его молитвы.

Разнообразные христианские формулы, обращенные к Богу или к Божественному провидению («слава Богу», «Бог знает», «ради Бога», «Бог тебе судья», «Бог даст» и т.п.), вообще играют весьма важную роль как в рассказе Гринева, так и в прямой речи персонажей. Они не только придают языку романа слегка архаизированную окраску, но и, подобно другим речевым клише, реализуются в сюжете, который как бы восстанавливает их первоначальное, буквальное, заклинательное значение. Сталкиваясь лицом к лицу с кошмаром истории, с жестокостью, страданием, горем, смертью, главные герои «Капитанской дочки» — Гринев и Марья Ивановна — не перестают уповать на Божью волю и милость, и повороты сюжета всякий раз оправдывают их упования. Во время метели Гринев решает «предать себя Божией воле» (6, 268); у виселицы он молится про себя, «принося Богу искреннее раскаяние во всех <...> прегрешениях и моля его о спасении всех близких <...> сердцу» (6, 308); уезжая из Оренбурга в Белогорскую крепость, он говорит Савельичу: «Бог милостив, авось увидимся...» (6, 329); умоляя Пугачева отпустить его и Машу, он обещает направиться «куда <...> Бог путь укажет» (6, 342), а в тюрьме прибегает к «утешению всех скорбящих» и вкушает «сладость молитвы, излианной из чистого, но растерзанного сердца» (6, 351—352).

Еще более твердые религиозные принципы определяют «простое» миропонимание Марьи Ивановны и ее родителей. Так, когда отец Гринева запрещает ему жениться, Маша смиренно принимает удар судьбы: «Буди во всем воля Господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно <...>. Покоримся воле Божией» (6, 292—293); расставаясь с Гриневым в Белогорской крепости, она говорит: «Будьте живы и счастливы; может быть, Господь приведет нас друг с другом увидеться...» (6, 303); и позже, в аналогичной ситуации, повторяет ту же фразу: «Придется ли нам увидаться или нет, Бог один это знает...» (6, 348). Перед началом штурма Белогорской крепости Василиса Егоровна преодолевает страх, потому что верит, что «в животе и смерти Бог волен», а капитан Миროнов благословляет дочь: «Молись Богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет» (6, 306).

Все главные события романа, относящиеся к герою и героине, — встречи Гринева с Пугачевым, Максимычем и Зуриным, его спасение от гибели, Машино избавление от Швабрина и встреча с Екатериной и, наконец, счастливый брак в финале — имеют судьбоносный характер, происходят на грани чудесного и, благодаря своей соотнесенности с вышеприведенными кенотическими формулами, оказываются их отсроченной сюжетной реализацией. Каждое из этих событий в отдельности может показаться совершенно случайным, но, взятые вместе, в той последовательности и взаимосвязи, которые определены сюжетом, они образуют значимый ряд, указывающий на действие неких благих провиденциальных сил, выявляющих себя через мнимую случайность (ср. известное высказывание Пушкина о том, что «случай — мощное, мгновенное орудие провидения», — 7, 100) и противостоящих историческому детерминизму. Именно так ретроспективно трактует «странные обстоятельства» (6, 269) своей жизни и сам рассказчик. Когда Пугачев дарует ему жизнь, Гринев не может не «подивиться странному сцеплению обстоятельств» (6, 312); когда они встречаются вновь в Берде, он решает, что это провидение привело его вторично к Пугачеву, чтобы помочь ему в его намерении спасти Машу (6, 332); по дороге в Белогорскую крепость он думает, что Пугачев «по странному стечению обстоятельств таинственно [с ним] связан» (6, 336); наконец он говорит Маше: «Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить» (6, 343).

Обсуждая сюжетное устройство романа, выявляющееся через «странное сцепление обстоятельств», Вольф Шмид заметил, что «на уровне изображенного мира он представлен как предначертание или фатум»<sup>22</sup>. На наш взгляд, однако, Пушкин выстраивает сюжет таким образом, что отношения героев и Провидения, вознаграждающего их за самопожертвование, постоянство и благочестие, больше напоминают не предопределение, а православные представления о синергии или сотрудничестве между Богом и христианином, обладающим свободой воли<sup>23</sup>. Действуя в рамках традиционной христианской этики, и Гринев, и Маша не только полагаются на «чудные обстоятельства», но и, так сказать, помогают Богу (или Автору) помочь им, когда по собственной воле совершают нравственно оправданные поступки, которые не вполне соответствуют их социальным ролям и принятым в обществе нормам поведения. Так, например, Гринев в отношениях с Савельичем дважды делает непростой нравственный выбор, отказываясь

<sup>22</sup> Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении. С. 235.

<sup>23</sup> См. об этом: Ware T. The Orthodox Church. Harmondsworth, 1993. P. 221.

играть роль господина, властвующего над рабом, и оба раза это в конечном счете приводит в действие механизм «странных сцеплений», которые в итоге вознаграждают героя. Сначала он просит прощения у «бедного Савельича», обещая ему «впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою» (6, 266), вследствие чего ему приходится отблагодарить Пугачева не деньгами, а заячьим тулупом, который потом избавит его от петли. Когда в эпизоде у Бердской слободы Гринев, спешащий на помощь к Маше, понимает, что «бедный старик» попал в плен к разбойникам, он, рискуя жизнью, самоотверженно отправляется к нему на помощь и из-за этого, по «странной случайности», снова встречается с Пугачевым и тем самым получает возможность вызволить невесту. Сама Маша тоже дважды совершает необычные, почти отчаянные поступки, которые оказываются судьбоносными: во-первых, она находит способ передать Гриневу письмо с мольбой о помощи, а во-вторых, одна отправляется через полстраны в Петербург, чтобы спасти возлюбленного.

В центре этической концепции «Капитанской дочки» лежит идея христианского милосердия, которая, как писал Г.П. Федотов, представляет собой «общий знаменатель русской этики»<sup>24</sup>. Весьма важно, что и главный герой романа, и его исторические персонажи выявляют свою «человечность» по отношению к самым незащищенным людям — старику-слуге Савельичу и девушке-сироте Маше, — как того требует христианская традиция. Согласно Ветхому и Новому Заветам, защита слабых — сирот, угнетенных, вдов, слуг, пришельцев — есть деяние, отождествляемое с божественным правосудием, ибо Бог покровительствует им и, как сказано во Второзаконии, «дает суд сироте и вдове, и любит пришельца» (10: 18). «Научитесь делать добро, — проповедует Исайя, — ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову» (1: 17). «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях», — говорится в Послании Иакова (1: 27).

В согласии с христианской каритативной этикой, угнетенность Савельича и сиротство Маши в контексте романа дают им особый статус, особые права на милосердие, которые признают за ними почти все персонажи «Капитанской дочки», к какому бы лагерю — народному или дворянскому — они ни принадлежали. К этому статусу Маши явно апеллирует Гринев, когда говорит Пугачеву, что едет «в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают» (6, 332). Его слова отсылают к заповеди пророка Иеремии:

<sup>24</sup> Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10: Русская религиозность. Ч. 1: Христианство Киевской Руси. X—XIII вв. М., 2001. С. 348.

«...производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте...» (22: 3). Ирония здесь заключается в том, что даже для Пугачева, который повинен в многократных нарушениях этой заповеди и который, собственно говоря, и сделал Машу сиротой, опозорив и убив ее мать-вдову, христианская нравственная норма не теряет своей значимости. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — возмущенно кричит Пугачев. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет» (6, 332). В главе XI, которую Пушкин назвал «Сирота», тем самым подчеркнув особый статус героини, Гринев снова напоминает Пугачеву о Машинем сиротстве и «христианской совести» (6, 341), и ему снова удается сподвигнуть крестьянского вождя на проявление милосердия.

Такую же реакцию сиротство Маши вызывает и у родителей Гринева, которые принимают ее у себя, видя «благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать *бедную сироту*» (6, 354), и у Екатерины. Когда императрица говорит Маше при встрече: «Вы *сирота*: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» (6, 357) — она тоже признает ее право на праведный суд и признание (ср. также фразу рассказчика: «Обласкав *бедную сироту*, государыня ее отпустила» — 6, 359).

Савельич и Маша — «бедный старик» и «бедная сирота», как называет их рассказчик, — не только играют в «Капитанской дочке» роль архетипических объектов милосердия, которые заставляют участников конфликта в отношениях с ними следовать универсальному закону христианской этики, но и становятся посредниками между героем и властью. Именно заступничество Савельича перед Пугачевым приводит к тому, что «крестьянский царь» милует молодого офицера, который с точки зрения крестьянской «правды» заслуживает казни. Именно заступничество Маши перед Екатериной приводит к тому, что «дворянская императрица» милует государственного преступника, который с точки зрения закона виновен если не в измене, то в невыполнении приказа начальника. Это обстоятельство, на наш взгляд, необходимо учитывать при рассмотрении дихотомии «милость/правосудие», которая, как уже было много раз отмечено, имеет первостепенное значение как в «Капитанской дочке», так и в ряде других произведений Пушкина 1830-х годов<sup>25</sup>. Мольбы о прощении в устах Савельича и Маши, олицетворяющих сам каритативный принцип, как бы напоминают

<sup>25</sup> См., например: Лотман Ю.М. Идеальная структура «Капитанской дочки». С. 222—224; а также С. 148—149 наст. книги.

властителям о высшей правде христианской этики, которая утверждает примат милости над правосудием.

«В Божиим Суде, — пишет Р.А. Папаян, — милость и суд не только представлены в единении друг с другом, но поставлены в иерархический ряд с подчеркиванием первенства милости»<sup>26</sup>. Этот принцип открыто декларируется в Новом Завете: «Ибо суд без милости не оказавшему милости: милость превозносится над судом» (Иак. 2: 13). Когда судия или государь следует ему, он выполняет ветхозаветное требование: «...вы творите не суд человеческий, но суд Господа...» (2 Пар. 19: 6).

Как нам представляется, тема милости у позднего Пушкина связана не столько с просветительскими концепциями правосудия, где обычно ищут ее истоки<sup>27</sup>, сколько с христианской каритативной этикой. На это прямо указывает апология милости в «Андже-ло», виртуозно переведенная Пушкиным из шекспировской комедии «Мера за меру»:

Подумай, если Тот, чья праведная сила  
Прощает и целит, судил бы грешных нас  
Без милосердия; скажи: что было б с нами?  
Подумай — и любви услышишь в сердце глас,  
И милость нежная твоими дхнет устами,  
И новый человек ты будешь. (4, 256)<sup>28</sup>

Характерно, что носителем идеи милосердия, основанной на христианской этике, в «Андже-ло», как и в «Капитанской дочке», выступает «жена непорочна» — набожная и смиренная послушница Изабела, которая, подобно Маше Мироновой, в финале просит у государя не справедливости (как у Шекспира), а милости к падшему. Можно утверждать поэтому, что в прощении, дарованном

<sup>26</sup> Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002. С. 209.

<sup>27</sup> См., например: Вацуро В.Э. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. Т. XII. С. 314—319; Неклюдова М. «Милость»/«Правосудие»: О французском контексте пушкинской темы // Пушкинские чтения в Тарту 2. Материалы Международной научной конференции 18—20 сентября 1998 г. Тарту, 2000. С. 204—215.

<sup>28</sup> Заглавная буква в слове «Тот» восстановлена по беловому автографу поэмы (ПД 962). Последняя строка в автографе вводит сравнение, отсутствующее в печатной редакции: «Как свет увидевший младенец» (ср. *Акад.* V, 428). Оно переключается со сравнением в «Страннике», приравнивающим духовное прозрение к физическому: «Я оком стал глядеть болезненно-отверстым, / Как от бельма избавленный слепец. / “Я вижу некий свет”, — сказал я наконец» (3, 311).

в «Капитанской дочке» Гриневу сначала Пугачевым, а потом Екатериной, Пушкин хотел видеть не случайную, непредсказуемую прихоть нелегитимного властителя, исходящую из личных симпатий<sup>29</sup>, и не желанное, но утопическое возведение «человечности в государственный принцип»<sup>30</sup>, но победу универсальной, транссоциальной христианской этики над «поскосторонним» историческим детерминизмом.

Обсуждая каритативную этику в Древней Руси, Г.П. Федотов заметил: «Чисто русская особенность христианского милосердия — связь с этикой клана или рода. Милосердие на Руси не только находит самое сильное выражение в любви между братьями или кровными родственниками, но стремится охватить всех людей, как бы находящихся в родстве между собой. Все люди братья не только в духовном христианском смысле, как имеющие общего Отца на небесах, но и в земном, как имеющие общее происхождение или общую кровь. Это привносит определенную теплоту, оттенок семейной нежности в человеческие взаимоотношения, но эта теплота имеет в себе нечто чувственное и плотское и потому распространяется лишь в границах нации...»<sup>31</sup> Для Пушкина патриархальная екатерининская Россия, которую он изображает в «Капитанской дочке», тоже несет в себе определенные черты подобной квазисемейной сродненности, которая сохраняется даже во время гражданской смуты<sup>32</sup>. «Люди старого века» (6, 354) не только предпочитают называть друг друга «батюшка» и «матушка», но и с семейной теплотой относятся к тем, кто нуждается в их опеке и

<sup>29</sup> Frazier M. *Kapitanskaia dochka* and the Creativity of Borrowing. P. 478—479.

<sup>30</sup> Лотман Ю.М. Идеальная структура «Капитанской дочки». С. 223.

<sup>31</sup> Федотов Г. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. С. 348.

<sup>32</sup> Симптоматично, что столичный Петербург в «Капитанской дочке» исключен из национальной «семьи». Из всех персонажей романа с ним непосредственно связан только подлец Швабрин, высланный из Петербурга за дуэль, и дальний родственник Гриневых князь Б\*\*. В начале романа Петруша мечтает «об удовольствиях петербургской жизни» (6, 260), но вместо столицы попадает в глубь России, а потом посещает лишь Москву, где присутствует при казни Пугачева. Маша отправляется в столицу, но доезжает только до Царского Села, откуда возвращается в деревню, «не полюбопытствовав взглянуть на Петербург» (6, 360). Даже Екатерина у Пушкина как бы изъята из петербургского пространства и перенесена в царскосельский парк, где она по-семейному появляется перед Машей в домашнем наряде (о семантике царскосельского локуса см.: *Осват А.Л.* Из наблюдений над царскосельским топосом «Капитанской дочки» // Тыняновский сборник. М., 2002. Вып. 11. С. 199—207). Для сравнения вспомним, что странствия героя романа Вальтера Скотта «Роб Рой», послужившего Пушкину нарративной моделью, начинаются и заканчиваются в Лондоне.

помощи. Савельич, Мироновы, Пугачев замещают молодому Петруше родителей; Зурин, как старший брат, посвящает его в мир мужских удовольствий; отец и мать Гринева (а до них отец Герасим и попадьё) заботятся о Маше, как если бы она была их приемной дочерью<sup>33</sup>. Вне зависимости от позиции в обществе и социальной принадлежности, члены нации-семьи помнят и узнают своих «сородичей»: даже сама императрица по-матерински разговаривает с Машей, незнакомой ей провинциальной девушкой, сразу вспоминает погибшего капитана Миронова и с улыбкой признает, что хорошо знакома с Анной Власьевной, племянницей придворного истопника.

Простые, теплые, «домашние» отношения, связывающие всех жителей Белогорской крепости, кроме Швабрина, служат в «Капитанской дочке» своего рода моделью того патриархального семейственного общежития, основанного на христианской этике милосердия, которое, по Пушкину, отличало Россию XVIII века от России современной. Эти личные, «родственные» привязанности выдерживают давление самых трагических обстоятельств: отец Герасим и Акулина Павловна рискуют жизнью, чтобы спрятать Машу от Пугачева, и приветствуют «ясного сокола» Гринева (6, 344) как родного; служанка Мироновых Палаша остается со своей молодой барыней, несмотря на все превратности судьбы; Максимыч, казак Пугачева, в пылу битвы снимает шапку и дружески приветствует вражеского офицера Гринева, который «несказанно ему обрадовался» (6, 326).

Из национально-религиозной «семьи» не исключаются даже Пугачев и Хлопуша, преступники и убийцы, многократно нарушившие закон, поскольку они в конечном счете признают примат этики милосердия над «своей правдой», хотя и понимают, что для них самих, по слову Пугачева, уже «не будет помилования» (6, 337). Ссылный преступник Хлопуша, например, говорит о себе и своих злодеяниях в христианском, так сказать, прото-достоевском ключе: «Конечно <...> и я грешен, и эта рука <...> повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя...» (6, 334). Однажды пощадив Гринева, Пугачев остается милосердным в отношениях с ним — он отпускает его «на все четыре стороны»,

<sup>33</sup> Игнорируя связи русской семейной этики с христианским милосердием, некоторые западные исследователи пытаются трактовать отношения Гринева с родителями и их «заместителями» как бунт против родительского авторитета. См., например, фрейдистскую интерпретацию романа у Пола Дебречени, который безуспешно пытается доказать, что, убив родителей Маши, Пугачев исполнил Петрушино подавленное желание отцеубийства (*Debreczeny P. The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin's Prose Fiction*. Stanford, 1983. P. 272–273).

когда Гринева отказывается ему служить, защищает от «своих ребят», которые хотят его повесить, едет с ним выручать Машу и прощает ему обман. Покровительствуя Гриневу, Пугачев как бы доказывает, — не столько юному Петруше, сколько самому себе и Богу, — что он «не такой еще кровопийца», каким его считают, и что в нем сохранилась «христианская совесть». Именно поэтому в кульминационной сцене романа Гриневу удается тронуть «суровую душу» Пугачева своей каритативной риторикой:

<...> Но Бог видит, что жизнь мою рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедною сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть потвоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!» (6, 341–342).

Отметим, что Пугачев благословляет Гринева и Машу той же формулой («Дай вам Бог любовь да совет»), какой капитан Миронов благословил дочь перед смертью (ср. 6, 306), а фраза: «Казалось, суровая душа Пугачева была тронута» — перекликается с тем, как Пушкин описывает реакцию Екатерины, когда Маша называет ей имя своего отца: «Дама, казалось, была тронута» (6, 358). Эти переклички еще раз подчеркивают, что представители и вожди обоих враждующих лагерей в романе имеют общие родовые признаки, по которым опознается их принадлежность к национально-религиозной «семье».

В эту общность не входят лишь два персонажа «Капитанской дочки», симметрично расположенные в социальном пространстве: дворянин Швабрин и беглый капрал Белобородов. Только они полностью отвергают каритативную этику и потому в контексте романа оцениваются как злодеи, лишённые любых, даже социально установленных нравственных принципов. «Сметливый» Швабрин, который, по слову умной Василисы Егоровны, «и в Господа Бога не верует» (6, 285), нарушает все правила дворянской чести, вызывая омерзение у Гринева, а умный старичок Белобородов (фамилии соответствует его «седая борода») выказывает недопустимое с «крестьянской» точки зрения отсутствие совести. «Тебе бы все души да резать, — обвиняет его Хлопуша. — Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?» (6, 333–334).

Интересно, что в этом обличении Белобородова явственно звучат отголоски выражения «губить душу» и слова «душегуб», связанные с характеристикой Швабрина, данной Василисой Егоровной: «...он за душегубство и из гвардии выписан» (6, 285). В конце романа Швабрин обретает даже некоторое внешнее сходство с «тщедушным стариком»: «Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена» (6, 353). Несмотря на различия в происхождении, возрасте, образовании, общественном положении, Швабрин и Белобородов — душегубы и душегубители — у Пушкина как бы отражаются друг в друге, ибо обоим чуждо милосердие, сближающее всех прочих персонажей «Капитанской дочки».

Расходясь с вальтер-скоттовской моделью в изображении расколотого общества, Пушкин, по сути дела, отказывается и от обязательного для нее «среднего» героя, не привязанного ни к одному из враждующих лагерей. Гринева никак нельзя назвать ни нейтральным наблюдателем конфликта, который вступает в человеческие контакты с историческими антагонистами (в конце концов, через его восприятие показаны только Пугачев и его окружение, но не Екатерина), ни простодушным чужаком вроде Квентина Дорварда, плохо ориентирующимся в незнакомых обычаях, нравах и политических проблемах. Он напоминает наивных вальтер-скоттовских героев только в первых главах романа, когда прибывает к «месту назначения» и вступает в неизведанную, пугающую его среду, где, как в символизирующем ее буране, он «ничего не [может] различить» (6, 268). Очутившись на незнакомой территории, юный и неопытный Гринев, естественно, не понимает многого из того, что происходит вокруг: например, ему не удается расшифровать тайный «воровской» язык, на котором при нем обсуждают местные проблемы Пугачев (вожатый) и хозяин постоялого двора. Ю.М. Лотман ссылается на этот эпизод как на доказательство того, что народная речь, насыщенная поговорками и загадками, в принципе непонятна дворянину<sup>34</sup>. На наш взгляд, однако, причина здесь совсем не в ограниченной языковой компетенции дворянина, а в незнании локального контекста и, как следствие, неспособности подобрать референты к «поговоркам и загадкам». Недаром рассказчик добавляет, что он «после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиреного после бунта 1772 года» (6, 271), — *после*, то есть тогда, когда Гринев освоился в незнакомой среде, разобрался в обстановке и без труда, задним числом, прочитал иносказания.

<sup>34</sup> Лотман Ю.М. Идеиная структура «Капитанской дочки». С. 215—216.

В отличие от Вальтера Скотта, Пушкин дает своему герою достаточно времени, — целый год жизни в Белогорской крепости<sup>35</sup>, — чтобы к началу гражданской смуты он успел сродниться с новым окружением, сформировать прочные привязанности, обрести опыт и знания. Его позиция в ходе конфликта тоже далека от нейтральной. Тогда как вальтер-скоттовские герои, как правило, вовлекаются в схватку враждебных лагерей по воле случая и потому могут с легкостью переходить с одной стороны на другую в зависимости от обстоятельств, Гринев всегда остается верен своему «долгу чести» и своей дворянской «правде» (6, 347). Всякий раз, когда ему предлагается нелегкий выбор между «чувством долга» и «слабостью человеческой», он, преодолевая страх, выбирает долг. «Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу», — объясняет он Пугачеву свой отказ перейти на его сторону (6, 316). «...Я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог» (6, 352; ср. ту же формулу в разговоре Гринева с Пугачевым: 316), — заявляет он на допросе. Сам Пугачев уважает и в некотором смысле даже поощряет верность Гринева дворянскому званию. Не случайно он, уже объявив себя императором, несколько раз, полусуто, обращается к нему: «Ваше благородие» — как простолюдин к дворянину. Так он приветствует Гринева и при их свидании в Белогорской крепости («Что, ваше благородие? <...> струсил ты, при знайся, когда молодцы накупили тебе веревку на шею» — 6, 315) и снова, когда они встречаются в Бердской слободе: «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию. — Как поживаешь? Зачем тебя Бог принес?» (6, 331)<sup>36</sup>

Комическое смешение двух форм обращения — на «ты» и на «вы», — как кажется, отражает трагическую двойственность взаимоотношений Пугачева и Гринева. В публичной сфере, на авансцене истории, под взглядами толпы, жаждущей кровавых зрелищ<sup>37</sup>, дворянин и беглый казак вынуждены играть роли, предписанные им историческим конфликтом, и не могут быть са-

<sup>35</sup> См. подробнее: Долинин А.А. Еще раз о хронологии «Капитанской дочки» // Пушкин и другие. Сборник статей к 60-летию профессора Сергея Александровича Фомичева. Новгород, 1997. С. 52—59.

<sup>36</sup> См. также аналогичные формулировки: 6, 270; 271; 272; 309; 313; 318; 333; 336; 340; 341; 344.

<sup>37</sup> См. пушкинское замечание: «народ требует сильных ощущений, для него и казни — зрелище» (7, 147). Присутствие торжествующей толпы в Белогорской крепости явно влияет на поведение Пугачева во время сцен бойни и триумфа. Когда Гринев дружески расстается с Пугачевым после второй встречи, толпящийся вокруг народ мешает ему «высказать все, чем исполнено было [его] сердце» (6, 344).

мими собой. Но наедине, когда давление обстоятельств ослабевает, они выскальзывают из-под власти социально-исторического детерминизма, обнаруживая друг в друге равное «ты», признающее императив милосердия и ощущающее в себе действие Провидения. «Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?» (6, 352) — саркастически вопрошает Гринева на допросе молодой гвардейский офицер (то есть, в определенном смысле, второй Швабрин). Самодовольный карьерист из Петербурга не способен уразуметь то, что Гринева понял в результате «странного сцепления обстоятельств»: с точки зрения русской христианской этики дворянин и казак, смиренный и бунтарь все равно остаются братьями, так что даже «ужасный человек, изверг», «злодей, обрызганный кровию стольких невинных жертв» может оказаться достойным «сильного сочувствия» (6, 343; 350) и дружбы, которая основана на таких общих ценностях, как милосердие и благодарность. Если «средний» герой Вальтера Скотта после кратковременного и безобидного бунта обычно смиряется с исторической необходимостью и принимает буржуазные добродетели благоразумия, умеренности и здравого смысла, то пушкинский Гринева, пройдя инициацию во внешне схожих обстоятельствах социального раскола, посвящается в тайны Провидения и метаисторической русской судьбы.

\* \* \*

Пушкин пометил последнюю редакцию «Капитанской дочки» 19 октября 1836 года, то есть днем двадцать пятой лицейской годовщины. В тот же день, по своему обычаю, он начал юбилейное стихотворение, обращенное к товарищам по Лицею («Была пора: наш праздник молодой...»). На этот раз, однако, главной темой стихотворения (так и оставшегося недописанным) он избрал не святость лицейской дружбы и не память об ушедших, а сам ход исторического времени, в котором протекли двадцать пять лет жизни лицейстов. Пушкин вспоминает события первой четверти XIX века, свидетелями которых были люди его поколения:

Припомните, о други, с той поры,  
Когда наш круг судьбы соединили,  
Чему, чему свидетели мы были!  
Игралища таинственной игры,  
Метались смущенные народы;  
И высились и падали цари;  
И кровь людей то славы, то свободы,  
То гордости багрила алтари. (3, 341—342)

За хаосом резких и кровавых исторических перемен — войн, революций, восстаний — Пушкин угадывает некий провиденциальный план, тайный смысл и цели которого скрыты от его исполнителей, «смущенных народов» и гибнущих на алтарях земных идеалов людей.

Тогда же, 19 октября, Пушкин написал и свое знаменитое письмо П.Я. Чаадаеву, названное «историческим, религиозным и политическим завещанием поэта»<sup>38</sup>, где он оспорил мысль Чаадаева о русской «исторической ничтожности». Пушкин утверждает, что у России есть свое «особое предназначение», свое достойное историческое наследие, и клянется честью, что «ни за что на свете <...> не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» (10, 689).

Очевидно, что и возражения Чаадаеву, и тема исторических перемен в стихотворении на лицейскую годовщину были непосредственно связаны с проблематикой и идейной структурой «Капитанской дочки» (а может быть, ею вызваны). Ключевой для Пушкина вопрос, который он пытается решить во всех трех текстах, — это раскрытие провиденциальных значений в исторических событиях. Чаадаев и его французские учителя полагали, что Божий промысел выявляется только в линейном историческом времени — в прогрессе, который «медленно и под прямым <...> воздействием единой нравственной силы» совершается в странах Западной Европы. На Западе, писал Чаадаев в первом «Философическом письме», все «таинственно повинуете той силе, которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние общества»<sup>39</sup>. Что же касается России, то, по мысли Чаадаева, Провидение «как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благотельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли

<sup>38</sup> *Quénet Ch.* Tchaadaev et les Lettres philosophiques. Contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie. Paris, 1931. P. 243

<sup>39</sup> *Чаадаев П.Я.* Статьи и письма / Сост., вступ. статья и коммент. Б.Н. Тарасова. 2-е изд., доп. М., 1989. С. 49, 52. Ср. сходную идею в лекциях Ф. Гизо по истории европейской цивилизации: «La civilisation européenne est entrée, s'il est permis de le dire, dans l'éternelle vérité, dans le plan de la providence; elle marche selon les voies de Dieu. C'est le principe rationnel de sa supériorité» (*Guizot F.* Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire Romain jusqu'à la Révolution Française. Paris, 1828. P. 32).

без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам»<sup>40</sup>.

Это отождествление западной исторической модели с планом Провидения и «общим законом человечества» и вызывает возражения у Пушкина. Для него именно уникальность «русской судьбы» и ее нелинейная природа скорее доказывают, нежели опровергают присутствие Божия промысла, который по определению не сводится к рациональным социоисторическим схемам. Цели Провидения проявляются поверх и вопреки истории и постигаются не разумом, а через мифологические, религиозные и поэтические откровения. Описывая хаотичный русский бунт в «Истории Пугачевского бунта», Пушкин, как честный и щепетильный историк, не придал своему нарративу такого сюжета, который мог бы выявить провиденциальные значения событий, но лишь в нескольких особо маркированных эпизодах намекнул на их метаисторическую подоплеку<sup>41</sup>. Романная фабула, напротив, дала ему полную возможность представить те же события как ходы в «таинственной игре», где историческим и вымышленным персонажам предоставляется определенная степень свободы от вальтер-скоттовской исторической необходимости. В этом смысле «Капитанская дочка» может рассматриваться как первый русский метаисторический роман, предвосхитивший и подготовивший не становление реализма в литературе, как часто утверждают, а славянофильскую мифологизацию русской истории.

## Библиография

*Пушкин и Англия* — Эткиндовские чтения I. Сборник статей по материалам Чтений памяти Е.Г. Эткинды (27—29 июня 2000). СПб., 2003. С. 56—86. Печатается в новой, расширенной редакции.

*Из разысканий вокруг «Анчара» (Источники, параллели, истолкования)* — Части I и II: Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования / Под ред. Дэвида М. Бетеа, А.Л. Осповата, Н.Г. Охотина и др. М., 2001. С. 11—41; Часть III: Древо искусства и древо яда. (Еще раз о полемике 1828 года между Катениным и Пушкиным) // Тыняновский сборник. Вып. 11. Девятые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2002. С. 208—218.

*О подзаголовке «Скупого рыцаря»* — Заметка к проблеме: «Пушкин и Шекспир» (О подзаголовке «Скупого рыцаря») // Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 183—189.

*Поэма Пушкина «Анджело»: источники и жанровые особенности* — Word, Music, History. A Festschrift for Caryl Emerson / Ed. by Lazar Fleishman, Gabriella Safran, Michael Wachtel. (=Stanford Slavic Studies. Vol. 29—30). Stanford, 2005. P. 179—208.

*Испанские переложения Пушкина («На Испанию родную...» и «Чудный сон мне Бог послал...»): опыт реконструкции замысла* — Испанская историческая легенда в переложении Пушкина («На Испанию родную...» и «Чудный сон мне Бог послал...»): опыт реконструкции замысла // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia [Вып.] VIII. История и историософия в литературном преломлении. Tartu, 2002. С. 69—101.

*Пропущенная цитата в статье Пушкина «О Мильтоне и шатобриановом переводе «Потерянного рая»* — Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Сб. научных трудов. [1987]. Вып. 25. СПб., 1993. С. 147—153.

*Об одном источнике стихотворения «Из Пиндемонти»* — Лотмановский сборник. М., 2004. [Вып.] 3. С. 252—260.

*Вальтер-скоттовский историзм и «Капитанская дочка»* — Тыняновский сборник. Вып. 12. Десятые — Одиннадцатые — Двенадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2006. С. 177—197.

<sup>40</sup> Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 47.

<sup>41</sup> См. об этом подробнее: Dolinin A. Historicism or Providentialism? Pushkin's *History of Pugachev* in the Context of French Romantic Historiography. P. 300—308.